

A woman in profile, facing left, wearing a large, textured red headwrap. She is wearing a necklace of red and white beads. The background is a blurred outdoor setting with trees and a grassy field.

ПЬЕР ЛОТИ

РАБЫНЯ
ИСТОРИЯ ОДНОГО СПАГИ



Пьер Лоти

Рабыня

«Седьмая книга»

Лоти П.

Рабыня / П. Лоти — «Седьмая книга»,

Жан Пейраль – солдат французских колониальных войск, расквартированных в Сенегале. Где-то, далеко во Франции, его ждет невеста – юная Жанна из его деревушки, затерянной в Севеннских горах, где он не был уже целых три года. А здесь, в Африке, он однажды выкупает маленькую африканку Фату, тенью ходящую за ним, и постепенно окутывающую его колдовскими чарами африканской страсти...

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	9
Глава третья	16
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Пьер Лоти

Рабыня

Глава первая

Миновав южную оконечность Марокко, и спускаясь к тропикам вдоль африканского побережья, долгие дни и ночи созерцаешь нескончаемый пустынный край. Это Сахара, «огромное безводное море», или, как называют его мавры, «Билад-уль-Аташ» — Страна жажды.

Пустыня насчитывает пятьсот лье в длину — и никаких ориентиров для плывущего корабля, ни одного растения, ни единого признака жизни.

С печальным однообразием проплывают мимо безлюдные пространства, зыбучие пески дюн, бескрайние горизонты — и с каждым днем все нестерпимее становится жара.

Потом, наконец, над песками встает старинное белое селение с редкими пожелтевшими пальмами: это сенегальский город Сен-Луи, столица Сенегамбии.

Церковь, мечеть, сторожевая башня, дома в мавританском стиле... Все будто дремлет под палящим солнцем, как в тех португальских городах, что процветали некогда на берегах Конго, — Сан-Паулу и Сен-Филипп де Бенгела.

Но вот корабль подходит ближе, и как же тут не подивиться, — город построен не на берегу, даже порта нет, нет вообще никакого сообщения с внешним миром. Берег, прямой и низкий, столь же неприветлив, как и Сахара, а бесконечная цепь скал не дает пристать кораблям.

Теперь можно разглядеть то, чего не видно было издали: огромные человеческие муравейники на берегу, тысячи и тысячи соломенных хижин, островерхих лилипутских шалашей, где копошатся странные темнокожие существа. Это два больших города народа волоф — Гет-н'дар и Н'дартут, отделяющие Сен-Луи от моря.

Как только остановишься где-нибудь неподалеку, тут же появляются длинные пироги с загнутым носом, с рыбой мордой и повадками акулы. Управляют ими стоя черные мужчины — высокие, худощавые, с лицами горилл и прекрасными, приводящими в восхищение мускулистыми фигурами. Проплывая над подводными скалами, гребцы опрокидываются раз десять. Но с негритянским упорством, ловкостью и силой клоунов десять раз кряду переворачивают пирогу и снова пускаются в путь; пот и морская вода ручьями струятся по их обнаженной коже, похожей на покрытое лаком эбеновое дерево.

Но вот они, наконец, добрались до корабля и в торжествующей улыбке показывают великолепные белые зубы. Одевание силачей состоит из амулета и стеклянных бус, а кладь — из тщательно закрытого свинцового ящика для писем.

Именно в нем заключены распоряжения губернатора прибывшему кораблю и бумаги, адресованные колонии.

Когда спешешь, можно безбоязненно положиться на этих мужчин и быть уверенным, что, случись лодке перевернуться, тебя с величайшей заботой обязательно выловят и в конце концов доставят на берег.

Однако гораздо удобнее продолжить путь в южном направлении и дойти до самого устья Сенегала, — там вас подберут плоскодонки и преспокойно отвезут в Сен-Луи по реке.

Такая оторванность от моря — главная причина застоя и уныния края; Сен-Луи не приспособлен для стоянки пассажирских пароходов и торговых судов, которые направляются в другое полушарие. Сюда заглядывают лишь по необходимости, никто никогда не бывает здесь проездом, и, похоже, местные жители чувствуют себя узниками, абсолютно отрезанными от остального мира.

В северном квартале Сен-Луи, возле мечети, стоял на отшибе старый маленький домик, принадлежавший некоему Самба-Хамету, торговцу с верховьев реки. Дом был выбелен известью; его потрескавшиеся кирпичные стены и рассохшиеся от жары доски служили пристанищем целым полчищам термитов, белых муравьев и голубоватых ящериц. Два марабу, поселившиеся на крыше, на самом солнцепеке, важно вытягивали плешивые шеи над прямой пустынной улицей и щелкали клювами на солнце, когда кто-нибудь случайно проходил мимо. О, печаль этой африканской земли! Хилая колючая пальма каждодневно медленно перемещала свою скудную тень вдоль раскаленной стены; то было единственное дерево во всем квартале — никакая другая зелень не ласкала здесь взор человека. На пожелтелые пальмовые ветви нередко садились стаи крохотных голубых и розовых зябликов, которых во Франции называют бенгали. А вокруг — песок, только песок. И нигде никакого моха, ни единой свежей травинки на иссушенной обжигающим дыханием Сахары земле.

Внизу, в ворохе причудливого тряпья — остатков прежней роскоши, жила ужасная старая негритянка по имени Кура-н'дьяй, бывшая фаворитка великого черного короля; жила там, среди коз, огромных рогатых баранов, тощих желтых собак и увешанных голубыми стеклянными украшениями маленьких рабынь.

Наверху же находилась просторная квадратная комната с высоким потолком, куда вела внешняя деревянная лестница, источенная червями.

Каждый вечер на заходе солнца в дом Самба-Хамета приходил мужчина в красной куртке, с мусульманской феской на голове — молодой спаги — так когда-то называли в африке служивых из частей французской колониальной артиллерии. Два марабу Кура-н'дьяй замечали его еще издалека, с другого конца мертвого города. Они безошибочно распознавали его шаг, его походку, яркие краски костюма и, не выражая ни малейшего беспокойства, давали войти, как давнему знакомому.

Этот высокий мужчина, державший голову гордо и прямо, чистокровный белый, хотя на африканском солнце лицо и грудь его покрылись темным загаром, отличался необыкновенной красотой — строгой и мужественной. У спаги были удлиненные, как у арабов, большие светлые глаза; из-под сдвинутой назад фески выбивалась прядь темных волос, ниспадавших на широкий чистый лоб. Красная куртка подчеркивала восхитительную линию талии, а во всем облике этого человека ощущалось сочетание гибкости и силы.

Обычно он бывал серьезен и задумчив; редко кому доводилось видеть его ослепительную улыбку, таившую в себе что-то от дикой кошки.

Но вот как-то вечером мужчина в красной куртке поднялся по деревянной лестнице Самба-Хамета с еще более задумчивым видом, чем всегда.

Войдя в свою комнату наверху, он, казалось, удивился, обнаружив, что она пуста.

Надо сказать, что жилище это, заставленное лишь покрытыми циновками скамейками, выглядело довольно странно. С потолка свисали пергаменты, исписанные священнослужителями Магриба, и разные талисманы.

Спаги подошел к украшенному медными пластинками и размалеванному яркими красками сундуку на ножках, наподобие тех, в которых народ волоф прячет ценные вещи, и попытался открыть его, но обнаружил, что сундук заперт.

Тогда, расположившись на таре — это что-то вроде софы из легких реек, их мастерят негры в Гамбии, — он достал из кармана письмо и стал читать его, сперва поцеловав в том месте, где стояла подпись.

Наверняка читатель решил, что речь идет о любовном послании какой-нибудь красавицы, возможно, изысканной парижанки или же другой романтической сеньоры. Статный африканский спаги казался прямо-таки созданным для ролей героев-любовников из нашумевших мелодрам.

Вероятно, сей листок бумаги должен стать для нас завязкой некоего драматического приключения, которым и начнется эта история...

На письме, к которому спаги припал губами, стоял штемпель затерянной в Северных деревушки. Строчки, написанные старой, дрожащей, неопытной рукой, налезали одна на другую, да и ошибок хватало.

В письме говорилось:

«Дорогой сынок, настоящим сообщаю о нашем здоровье, которое пока довольно хорошее, за что мы и благодарим Господа Бога. Но отец говорит, что чувствует, как стареет, все хуже становится зрение, и потому я, твоя старая мать, беру перо, чтобы рассказать о нашем житье-бытье; ты уж прости, сам знаешь: лучше я писать не умею.

Дорогой сынок, хочу тебе сказать, что с некоторых пор мы оказались в затруднении. Вот уже три года, как ты уехал, и все теперь не ладится; достаток и радость покинули нас. Год выдался тяжелый из-за сильного града, который, почитай, все-все погубил в поле, за исключением того, что у самой дороги. Корова заболела, лечить ее обошлось очень дорого; поденной работы отцу не всегда хватает, ведь он работает с молодыми, а те делают все быстрее; к тому же еще пришлось починить часть крыши дома, она грозила рухнуть из-за дождей. Я знаю, на службе платят небогато, но отец говорит, что если бы ты сумел прислать то, что обещал, не урезая себя, нам было бы немного полегче.

Мери, конечно, вполне могли бы ссудить нас, у них-то всего в достатке, но просить не хочется, стыдно выглядеть бедняками. Часто видим Жанну Мери — твоя кузина хорошеет день ото дня. Она всегда рада-радешенька поговорить с нами о тебе, и уверяет, дорогой Жан, будто ждет не дождется вашей свадьбы. Зато ее отец об этом больше и слышать не хочет, ведь мы бедные, да к тому же, сказать по правде, в свое время ты был изрядным шалопаем. Но я все-таки уверена: вот получишь нашивки сержанта, вернешься в прекрасном военном мундире, и все, в конце концов, образуется. Я умерла бы спокойной, поженив вас. Конечно, наш дом не слишком хорош. Ну так построили бы себе рядом новый. Мы с Пейралем любим помечтать об этом вечерами.

Обязательно, дорогой сынок, пришли немного денег, без них просто беда, выкрутиться в этом году не удалось, как я уже говорила, из-за града и из-за коровы. Вижу, как мается отец, как по ночам ему не спится, все о чем-то думает и без конца ворочается. Если не можешь прислать большую сумму, пошли, что сумеешь.

Прощай, дорогой сынок. Люди в деревне часто спрашивают о тебе, хотят знать, когда вернешься. Соседи передают большой привет, а что до меня, то, сам знаешь: с тех пор, как ты уехал, я ничему не рада.

Заканчивая, обнимаю тебя, и Пейраль — тоже.

Твоя старая любящая мать

Франсуаза Пейраль».

...Жан облокотился о подоконник и задумался, словно замороженный бескрайним африканским простором: за окном проступали очертания сгрудившихся островерхих хижин народа волоф; вдалеке простирался беспокойный океан с неизменной грядой африканских скал; готовое вот-вот исчезнуть желтое солнце проливалось последний тусклый свет на необъятную, без конца и края, пустыню; в небе парили стаи хищных птиц, где-то у горизонта маячил караван

мавров, а еще дальше скрывалось кладбище Сорр, неотвратимо притягивавшее взор спаги: сколько его товарищей, тоже горцев, уже покоилось там, все они умерли от лихорадки в этом проклятом климате.

Ах, вернуться бы к старым родителям! Жить бы да поживать в маленьком домике вместе с Жанной Мери, рядом со скромным отцовским жилищем!.. Зачем он в Африке?.. Что общего между ним и этой землей? Красный костюм и арабская феска — что за жалкий маскарад для бедного, незаметного крестьянина из Севенн!

Долго стоял так в задумчивости, вспоминая родную деревню, несчастный сенегальский воин, а с заходом солнца и наступлением ночи и вовсе закручинился. Со стороны Н'дартута торопливые удары тамтама созывали негров на бамбулу;¹ в хижинах волоф один за другим зажигались огни. Тем декабрьским вечером дул отвратительный зимний ветер, поднимая вихри песка и бросая в дрожь непривычную к холодам, огромную, испепеленную солнцем страну.

Открылась дверь, и похожий на шакала рыжий с прямыми ушами пес местной породы лаобе, ворвавшись с шумом, запрыгал вокруг хозяина.

Тут же появившаяся на пороге черная девушка, веселая и смешливая, сделала что-то вроде реверанса — пружинистого, неожиданного и комичного, промолвив при этом «Кеу!» (Добрый день!)

Бросив на нее рассеянный взгляд, спаги произнес на смеси креольского, французского и языка волоф: — Фату-гэй, открой сундук, надо достать деньги.

— Твои халисы!..² — Фату-гэй широко открыла большие глаза, белизну белков которых подчеркивали темные веки. — Твои халисы!.. — повторила она с выражением ужаса и дерзкого вызова. В ожидании наказания девушка, словно нашкодивший и застигнутый врасплох ребенок, показала на свои уши, где красовались три пары золотых сережек восхитительной работы.

Это были одни из тех поразительно изящных галамских украшений,³ секрет которых хранят черные художники, творящие под сенью маленьких низких навесов, сидя на корточках прямо на песке.

Фату-гэй только что сделала покупку, к которой так давно и страстно стремилась, потратив деньги спаги: добрую сотню собранных по крохам франков, плод жалких солдатских сбережений, предназначенных для родителей.

Глаза Жана сверкнули, рука схватила хлыст, однако тут же и опустилась. Пейраль быстро успокаивался, был отходчив и мягок, в особенности со слабыми.

Упрекать Фату он не стал — бесполезно. Да и сам виноват: почему не спрятал получше деньги, которые теперь во что бы то ни стало надо где-то найти?

Фату-гэй знала, как кошачьими ласками задобрить возлюбленного, как разбудить в нем лихорадку желаний, вместе с которой придет и прощение: черными, в серебряных браслетах руками, прекрасными, словно руки статуи, она обвила его и прижалась обнаженной грудью к красному сукну куртки.

И спаги, не сопротивляясь, упал рядом с девушкой на тару, отложив до завтра поиски денег, которых в крытой соломой хижине дожидались его старые родители...

¹ Бамбула (Банбула) — одна из разновидностей негритянского барабана, а также — танец, который исполняют под звуки этого инструмента. (В авторском понимании — африканский танцевальный праздник.)

² Халисы. — Впоследствии автор уточняет, что такое название носила пятифранковая монета.

³ Галамские украшения — ювелирные изделия из области Галам, которую автор описывает дальше.

Глава вторая

Три года минуло с тех пор, как Жан Пейраль ступил на африканскую землю; за это время в нем произошли разительные перемены. Среда, климат, природа мало-помалу закружили молодую голову; спаги чувствовал, как медленно опускается, скользит по наклонной плоскости; и в конце концов он стал любовником Фату-гэй, чернокожей девушки из племени хасонке,⁴ околдовавшей его чувственным и нечистым соблазном, чарами неведомых волшебных амулетов.

История Жана была совсем несложной.

Двадцати лет от роду судьба отобрала его у старой матери — та горько плакала. Подобно другим сыновьям деревни, он уехал, громко распевая, чтобы не разрыдаться самому.

Высокий рост определил его путь в кавалерию. Таинственная тяга к неизвестному заставила выбрать корпус спаги.

Детство Жана прошло в Севеннах, в глухой деревушке, посреди лесов.

На вольном, чистом воздухе гор он рос, как молодой дубок.

Первые картинки, запечатлевшиеся в детской голове, были ясными и простыми: отец и мать, два дорогих образа; семейный очаг, старенький домик под каштанами.

Эти неизгладимые воспоминания заняли священное место в глубине его сердца. А потом были бескрайние леса, поиски приключений на заросших мохом тропинках — свобода!

В первые годы жизни он только и знал что затерянную деревню, где родился, — вокруг не существовало ничего, кроме дикой природы, населенной пастухами и горными колдунами.

Целыми днями скитаясь в лесах, он предавался одиноким детским мечтаниям, созерцаниям пастушонка, потом пришел черед каких-то безумных желаний: хотелось бегать сломя голову, куда-то карабкаться, ломать ветки деревьев, ловить птиц.

Скверным воспоминанием была деревенская школа: мрачное место, где приходилось сиднем сидеть взаперти. Скоро посылать его туда отказались — зачем, все равно убежит.

По воскресеньям, надев красивые одежды горца, он вместе с матерью отправлялся в церковь, держа за руку маленькую Жанну, — ее забирали по дороге у дядюшки Мери. Потом шел на площадку под дубами играть в шары.

Жан был красивее и сильнее других ребяташек и знал это; во время игр повиновались не кому-нибудь, а ему.

С годами привычка всюду находить такое подчинение, стремление к независимости и вечному движению стали еще заметнее. Он всегда поступал по-своему и всегда в ущерб себе: браконьерствовал в любое время года со старым, плохо стрелявшим ружьем, навлекая постоянные нарекания лесника, к великому отчаянию дядюшки Мери, мечтавшему сделать из мальчишки достойного человека, обучить его ремеслу.

Что верно, то верно, он и правда был «в свое время изрядным шалопаем».

Но все-таки паренька любили — даже те, кто больше всех от него натерпелся, потому что сердце у Жана оставалось чистым и открытым. А стоило сорванцу улыбнуться, злость у людей как рукой снимало, да и самого Жана, если взяться умеючи, всегда удавалось урезонить лаской. Правда, дядюшка Мери со своими нравоучениями и угрозами не мог рассчитывать на успех; зато когда под градом упреков матери Жан сознавал, что действительно огорчил ее, этот высокий парень, почти мужчина, опускал голову, готовый расплакаться.

Неукротимый, но не распушенный, он слыл сильным, гордым и, пожалуй, чуть диковатым подростком. В деревне не ведали испорченности чахлах горожан и потому не опасались

⁴ Хасонке — этническая группа народности мандинка (малинке), относящейся к конго-кордофанской семье народов.

дурных примеров. Когда Жану минуло двадцать лет и пришло время идти на службу, он был так же чист и почти несведущ в жизни, как малый ребенок.

Зато потом наступила совсем иная, полная неожиданностей пора.

Жан следовал за новыми товарищами туда, где творится блуд, где любовь познается среди самого гнусного и мерзкого разврата. Удивление, отвращение, но и неодолимая привлекательность того, что может предложить проституция больших городов, поразили беднягу, вскружив его юную голову.

Затем, после нескольких дней столь бурной жизни, по спокойному синему океану корабль унес его далеко, очень далеко, чтобы высадить — ошеломленного и выбитого из колеи — на побережье Сенегала.

Однажды ноябрьским днем — в ту пору, когда огромные баобабы роняют на песок последние листья, — Жан Пейраль впервые с любопытством взглянул на уголок земли, где по воле случая ему уготовано было судьбой провести пять лет жизни.

Необычность этого края поначалу сильно поражала воображение. Но потом все засло-нило острое чувство радости: у него теперь есть лошадь, арабская шапочка, красная куртка и огромная сабля и еще... возможность закручивать быстро отраставшие усы.

Он счел себя красивым, и это ему понравилось.

Ноябрь — хорошее время года, соответствующее французской зиме; жара спадает, и сухой ветер из пустыни приходит на смену сильным летним грозам. Можно спокойно располагаться под открытым небом, без всякой крыши над головой. В течение шести месяцев на эту землю не упадет ни единой капли воды, и день за днем, без передышки нещадно будет палить немилосердное солнце.

Это любимая пора ящериц; но в водоемах не хватает воды, болота высыхают, трава увядает, и даже кактусы, колючие опунции,⁵ не раскрывают своих унылых желтых цветов. Между тем вечерами становится прохладно; после захода солнца обычно поднимается сильный ветер, он безжалостно обрывает с деревьев последние осенние листья и заставляет рокотать волны у скалистых берегов.

Грустная осень, которая не приносит с собой ни долгих французских вечеров, ни преле-сти первых заморозков, ни урожая, ни золотистых фруктов. В этой обездоленной Богом стране фруктов не бывает; ей отказано даже в финиках — плодах пустыни, — там ничто не вызревает, ничто, только арахис да горькие фисташки.

Зима при знойной жаре производит странное впечатление.

Вокруг простираются необъятные, раскаленные, мрачные и унылые равнины, покрытые мертвыми травами, где рядом с чахлыми пальмами то тут, то там высятся, словно мастодонты⁶ растительного царства, громадные баобабы — прибежища целых семейств стервятников, яще-риц и летучих мышей.

Однако вскоре бедного Жана одолела скука, что-то вроде неведомой ему прежде мелан-холии, начало смутной, необъяснимой тоски по горам, тоски по деревне и крытой соломенной крышей хижине его горячо любимых родителей.

Новые товарищи, спаги, уже побывали со своими огромными саблями в различных гар-низонах Индии и Алжира. Они растеряли молодость в кабаках приморских городов, зато при-обрели привычку к зубоскальству и распушенности — неизбежным спутникам странствий по

⁵ Опунции — растения из семейства кактусовых, не характерны для африканских пустынь; их родина — Центральная Америка.

⁶ Мастодонт — вымершее млекопитающее из группы хоботных, размерами и строением напоминающее современного слона. В переносном смысле — нечто громадное и неуклюжее.

миру; на все про все у них имелся запас готовых циничных шуток на французском аргю, арабском и сабуре — чудовищной смеси того и другого. Развлечения этих, по существу, славных ребят, веселых товарищей, вызывали у Жана глубокое отвращение, он не принимал их жизни.

По натуре Жан, уроженец гор, был мечтателем. А мечтательность несвойственна отупевшему, испорченному люду больших городов. Однако среди мужчин, выросших в полях, или среди моряков, сыновей рыбаков, воспитывавшихся в море в отцовской лодке, встречаются люди, которые мечтают, настоящие безмолвные поэты. Они все могут понять, только вот не могут выразить, облечь свои ощущения в нужные слова.

В казарме у Жана с избытком хватало свободного времени для наблюдений и размышлений.

Каждый вечер он уходил на бескрайние пляжи, блуждая по голубоватым пескам, озарявшимся невообразимыми закатами, купался среди огромных скал африканского побережья, забавляясь, словно ребенок, игрою с гигантскими волнами, обдававшими его песком.

Или же долго шагал неведомо куда — просто ради удовольствия двигаться, вдыхать полной грудью летевший с океана соленый ветер. Подчас эта плоская равнина раздражала его, угнетала его воображение, привыкшее к горному пейзажу; хотелось все время идти вперед, за горизонт, чтобы увидеть, что там.

С наступлением сумерек берег заполнялся черными мужчинами, возвращавшимися в деревни со снопами проса, и рыбаками в окружении шумных ватаг ребятишек и женщин. Уловы в Сенегале всегда бывали поистине чудесны: сети буквально лопались под тяжестью тысяч и тысяч самых разнообразных рыб. Полные корзины с дарами моря негритянки водружали себе на голову, а черные ребятишки разбегались по домам, каждый увенчанный короной из огромных трепещущих рыбин, нанизанных за жабры. На каждом шагу тут встречались поразительные человеческие типы — прибывшие с живописными караванами мавры и пёли,⁷ говорившие на берберском языке, представители других народов из глубины материка. В невероятном освещении раскаленного светила взору то и дело открывались картины, которые невозможно описать.

Потом гребни голубых дюн начинали розоветь; последние горизонтальные лучи ложились на песок; солнце угасало в кровавом мареве, и тогда весь этот черный люд бросался лицом на землю для вечерней молитвы.

То был святой час ислама; от Мекки до самого края Сахары имя Мухаммеда, передаваемое из уст в уста, пронеслось над Африкой, словно таинственное дуновение. Миновав Судан, оно постепенно стихало, а докатившись сюда, к кромке огромного волнующегося океана, угасало на черных губах.

Обратившись к темнеющему океану, старые священнослужители волоф в развевающихся одеждах, уткнувшись лбом в песок, читали молитвы, и все побережье сплошь было покрыто простершимися людьми. Наступала полнейшая тишина, и вдруг с поразительной скоростью, обычной для тропических стран, спустилась ночь.

С наступлением темноты Жан возвращался в казарму в южной части Сен-Луи.

В большом белом зале, открытом для вечернего ветра, пронумерованные койки спаги стояли вдоль голых стен; теплый ветерок с океана колыхал кисейные москитные сетки. Вокруг — никого. Тихо и спокойно. Жан возвращался, когда другие разбредались по пустынным улицам в поисках развлечений и любовных утех.

⁷ Пель — одно из самоназваний западноафриканской народности фульбе — берберского по происхождению этноса, в котором скрестились арабская и негритянская кровь.

В этот час уединенная казарма выглядела особенно печальной, и он все больше думал о матери.

В южной части Сен-Луи стояли старые кирпичные дома в арабском стиле; вечерами, когда все засыпало в мертвом городе, в них загорался свет, отбрасывавший на песок красные полосы. В воздухе повисала странная, усиленная свирепой жарой смесь запахов: алкоголя и чернокожих тел, слышался шум нестройных голосов пьяных спаги. Несчастные воины в красных куртках отправлялись сюда попусту растрчивать свою могучую жизненную силу: употребить — по необходимости или из удалства — невероятное количество спиртного, побуяннить и забыться.

В этих притонах, переполненных проститутками-мулатками, устраивались гнусные, необузданные оргии, подогреваемые абсентом и африканским климатом.

Жан с ужасом обходил подобные злачные места. Он был очень благоразумен и уже начал откладывать причитававшиеся ему за службу жалкие гроши, мечтая о радостной минуте возвращения домой.

Да, он был очень благоразумен, а между тем товарищи и не думали высмеивать его.

Красавец Фриц Мюллер, высокий парень из Эльзаса, которому богатое дуэлями и приключениями прошлое снискало непререкаемый авторитет в казарме, так вот красавец Мюллер глубоко уважал Пейраля, да и все остальные тоже. Но настоящим другом Жана был Ньяорфалл, черный спаги, великолепный африканский великан из народности фута-дьялонке; его удивительное невозмутимое лицо с изящным арабским профилем и неизменной таинственной улыбкой на тонких губах напоминало лицо прекрасной статуи черного мрамора.

Он-то и стал истинным другом Жана; водил его к себе, в туземное жилище в Гет-н'даре; усаживал среди своих женщин на белой циновке и угощал негритянскими кушаньями: кускусом и гуру.

По вечерам Сен-Луи жил монотонной жизнью маленьких колониальных городков. Лишь в хорошее время года улицы некрополя оживали; после захода солнца женщины, которых пощадила лихорадка, демонстрировали на площади Правительства или в аллее желтых пальм Гет-н'дара свои туалеты, напоминавшие здесь, в стране изгнания, о Европе.

Если не принимать во внимание бесконечно плоскую песчаную равнину, проводившую вдалеке безупречную черту горизонта, то, очутившись на окаймленной симметричными белыми зданиями огромной площади Правительства, можно было подумать, что находишься в каком-нибудь европейском южном городе.

Немногочисленные гуляющие, давно знакомые между собой, разглядывали друг друга. Жан смотрел на этих людей, и они тоже смотрели на него. Красавец спаги, бредущий один с суровым и строгим видом, заинтересовал жителей Сен-Луи, предположивших, что в его жизни не обошлось без романтического приключения.

Особенно внимательно на Жана смотрела одна женщина, женщина более элегантная, чем другие, и более красивая.

Утверждали, что она мулатка, но такая белая, что вполне могла сойти за парижанку.

Белокожая, отличавшаяся особой испанской бледностью, со светло-рыжими волосами, свойственными мулаткам, и обведенными голубым огромными, полуприкрытыми глазами, вращавшимися с креольской медлительностью, — вот какой она была, эта жена богатого коммерсанта. Однако в Сен-Луи ее, как любую цветную девушку, называли просто по имени — Кора.

Она недавно вернулась из Парижа, опытный женский глаз не мог не заметить этого по ее туалетам. Но и Жан, хоть и мало сведущий в подобных вещах, понял, что в ее волочащихся по земле платьях, даже самых простых, есть какое-то особенное изящество, которого нет у других.

А главное, он видел: женщина очень красива и всякий раз при встрече обволакивает его взглядом, от которого по телу пробегает безудержная дрожь.

— Она любит тебя, Пейраль, — заявил красавец Мюллер с заговорщическим видом искателя приключений и покорителя женских сердец.

Она и в самом деле любила его, как любят мулатки, и в один прекрасный день пригласила к себе в дом, чтобы сказать об этом.

Последовавшие затем два месяца пролетели для бедного Жана, как волшебный сон.

Элегантная, надушенная женщина, невиданная доселе роскошь — все это странным образом закружило спаги, смутило душу, разгорячило плоть. До сих пор ему показывали лишь циничную пародию на любовь, зато теперь...

Теперь он словно получил несметные богатства волшебных сказок, причем сразу, безраздельно. И все-таки одна мысль не давала Жану покоя, наводила на размышления: бесстыдство Кору, которая сама бросилась в его объятия. Впрочем, опьянев от любви, он не помнил самого себя и редко задумывался над этим.

Спаги тоже попытался заняться своим туалетом: стал душиться, тщательно следить за усами и прической. Как всем молодым любовникам, ему казалось, что жизнь началась лишь со дня встречи с возлюбленной, а прошлое ничего не стоит.

Кора тоже любила его; только сердце мало участвовало в этой любви.

Мулатка с острова Реюньон, она выросла среди роскоши и чувственной праздности богатых креолов, однако белые женщины не допускали в свой круг цветную девушку. Тот же расовый предрассудок преследовал Кору и в Сен-Луи. Жену одного из самых уважаемых торговцев общество презрительно держало на расстоянии, как существо низшего порядка.

В Париже у молодой женщины было довольно много весьма изысканных любовников; солидное состояние позволило ей занять во французской столице достойное положение, приобщиться к элегантному, благопристойному пороку.

В конце концов, ей наскучили затянутые в перчатки тонкие руки, болезненный вид всех этих франтов, романтические, усталые выражения лиц. Вернувшись, она выбрала Жана, большого и сильного, и по-своему любила это прекрасное, неухоженное растение; ей нравились бесхитростные, неотесанные манеры спаги, нравилось все, вплоть до грубого полотна его солдатской рубашки.

Кора жила в большом белом, вроде арабского караван-сарая, кирпичном доме, напоминавшем, как все в старых кварталах Сен-Луи, египетские постройки.

Внизу располагались просторные дворы, куда приходили отдохнуть на песке верблюды и мавры из пустыни и где среди множества черных рабов кишмя кишела всякая живность — собаки, страусы, домашний скот.

Наверху, подобно террасам Вавилона, высились бесконечные веранды на массивных квадратных колоннах.

В апартаменты вела наружная белокаменная монументальная лестница — обветшавшая, унылая, как и все в Сен-Луи, городе прошлого, бывшей колонии, доживавшей свои последние дни.

Гостиная грандиозных размеров с мебелью вековой давности не лишена была некоторого величия. Всюду сновали голубые ящерицы, кошки, летали попугайчики, по изысканным гвинейским циновкам гонялись друг за другом домашние газели; служанки-негритянки, про-

ходившие мимо, едва передвигая ноги и с трудом волоча сандалии, оставляли за собой терпкий запах сумаре и мускусных амулетов. Словом, все дышало тоской изгнания и одиночества. Особенно печально бывало по вечерам, когда городские шумы стихали, уступая место нескончаемому стону африканского приboя.

Спальня Кору выглядела веселее и современнее остальных помещений. Недавно прибывшие из Парижа мебель и обои сделали ее элегантно и удобной; здесь ощущались ароматы самых последних модных духов, купленных у парфюмеров на парижских бульварах.

В этой-то комнате и проводил Жан часы восторга и упоения. Спальня казалась ему волшебным дворцом и своею роскошью и очарованием превосходила все, что могло нарисовать ему воображение.

Эта женщина стала для него воплощением жизни, воплощением счастья. По изощренности, свойственной пресытившемуся наслаждениями существу, она желала обладать не только телом, но и душой Жана; с одной лишь креолкам ведомой нежностью и лаской она играла для своего любовника, который был моложе ее, неотразимую комедию бесхитростной любви. И полностью преуспела: он принадлежал ей безраздельно.

В качестве невольницы в доме Кору жила презабавная негрityяночка, на которую Жан не обращал ни малейшего внимания, — Фату-гэй.

Мавры захватили эту девочку во время одного из своих набегов в страну хасонке, потом привезли в Сен-Луи и продали как рабыню.

Благодаря необычайной хитрости и отчаянно независимому нраву ей удавалось уклоняться от обязанностей домашней прислуги. Девчонку считали сущим бесенком, лишним ртом и совершенно бесполезным приобретением.

Еще не достигнув того возраста, когда негрityянки Сен-Луи полагают, что настала пора прикрыться, она обычно ходила совсем голая, с нанизанными на цепочку амулетами на шею и несколькими бусинками вокруг бедер. Голова ее была тщательно выбрита, за исключением пяти крохотных прядок, туго сплетенных и склеенных в пять жестких хвостиков, расположенных на равном расстоянии от самого лба до затылка. Каждая прядка заканчивалась коралловым шариком, кроме той, что находилась посередине и заключала в себе более ценную вещь: старинный золотой цехин, который когда-то прибыл, должно быть, с караваном из Алжира. Странствия монетки по Судану наверняка были долгими и трудными.

Если бы не эта нелепая прическа, черты Фату-гэй поражали бы своею правильностью. Она являла собой ярко выраженный тип народности хасонке во всей его первозданной чистоте: тонкое личико в греческом стиле с гладкой черной кожей, похожей на полированный оникс, ослепительно белые зубы, необычайно подвижные глаза — два огромных черных зрачка на фоне голубоватой белизны, непрерывно бегающие туда-сюда меж черными веками.

Выходя от возлюбленной, Жан часто сталкивался с этим маленьким созданием.

Едва завидев его, Фату-гэй тут же облачалась в праздничное одеяние — голубую набедренную повязку и, склонив голову, с жеманными ужимками влюбленной говорила тоненьким и певучим, как у всех негрityянок, голоском: «*Maу man сорег, souma toubab*», что означало: «Дай мне медную монетку, белый господин».

То был неизменный припев всех девочек Сен-Луи. Жан к этому уже привык и, когда бывал в хорошем настроении, обнаружив в кармане су, отдавал его Фату-гэй.

Казалось бы, ничего особенного, но вся странность заключалась в том, что Фату-гэй вместо того, чтобы купить себе кусок сахара, как поступила бы на ее месте любая другая, пряталась куда-нибудь в уголок и тщательно зашивала в свои амулеты су, подаренные молодым спаги.

Однажды — дело было в феврале — у Жана вдруг появились подозрения.

Кора попросила его уйти в полночь, но, когда он собрался к себе, в соседней комнате послышались чьи-то шаги, словно там кто-то дожидался.

В полночь спаги все-таки покинул свою возлюбленную, но потом потихоньку вернулся, неслышно ступая по песку, взобрался по стене на балкон и через полуоткрытую дверь террасы заглянул в спальню Кору.

Кто-то занял место Жана — совсем молодой человек в форме морского офицера. Гость чувствовал себя как дома, развалившись в кресле с довольным и высокомерным видом.

Кора стояла возле него, они о чем-то болтали на незнакомом, как показалось Жану, языке... А между тем слова были вроде бы французские... Короткие фразы, которыми небрежно обменивались эти двое, представлялись ему загадочной насмешкой, их смысл ускользал от него... Да и Кора выглядела совсем другой, выражение ее лица изменилось, на губах то и дело играла улыбка: такую улыбку он, помнится, видел у одной рослой девицы в злачном месте.

И Жан задрожал... Вся кровь, казалось, прилила к сердцу, голова шумела, словно бушующий океан, в глазах потемнело...

Он стыдился самого себя, однако решил остаться и понять... И тут услышал свое имя: говорили о нем... Прижавшись к стене, он стал яснее различать слова.

— Вы не правы, Кора, — спокойно заметил молодой человек с вызывающей улыбкой. — Ведь этот парень настоящий красавец и к тому же вас любит...

— Верно, но мне хотелось заполучить двоих. Вас я выбрала, потому что зоветесь вы, как и он, Жан, иначе я могла бы перепутать имена в разговоре с ним: я очень рассеянна...

И она подошла к новому Жану.

Выражение ее лица и тон снова изменились, послышались ласкающие, певучие ноты креольского акцента, грассируя, она нашептывала какие-то наивные слова и подставляла ему губы, еще горячие от поцелуев спаги.

Но тут офицер увидел вдруг в полуоткрытой двери бледное лицо Жана Пейраля и молча показал на него Коре рукой...

Спаги застыл, словно окаменев, устремив на них растерянный взгляд...

А когда заметил, что и на него тоже смотрят, тихонько отступил в тень... Кора рванулась вперед, лицо ее безобразно исказилось, она стала похожа на зверя, которого потревожили в минуту любовных утех; эта женщина внушала теперь ужас... В ярости захлопнув дверь, она заперла ее на задвижку, и этим все было сказано...

Из-под маски элегантной женщины с приятными манерами проглянуло лицо мулатки, внучки рабыни; жестокая в своем Цинизме, она не знала ни угрызений совести, ни страха, ни жалости...

Цветная женщина и ее любовник услышали что-то вроде шума тяжело упавшего тела — зловещий звук в ночной тиши, а позже, уже под утро, из-за двери донеслось чье-то рыдание и шорох шаривших во тьме рук...

Поднявшись, спаги ошущью ушел куда-то в ночь...

Глава третья

Шагая бесцельно, словно подвыпивший человек, увязая по щиколотки в песке пустынных улиц, Жан дошел до Гет-н'дара, негритянского города с тысячами островерхих хижин. В темноте ему случалось спотыкаться о мужчин и женщин, спавших, прикрывшись белыми набедренными повязками, прямо на земле и потому казавшихся ему привидениями...

Совсем потеряв голову, Жан побрел дальше и вскоре очутился на берегу темного океана. Волны с шумом бились о скалы; Жан с ужасом и дрожью различал кишашее скопище крабов, разбегавшихся при его приближении. Сразу вспомнился увиденный как-то труп на песке, искромсанный и обглоданный ими... Такой смерти он не хотел...

И все-таки разбивающиеся о скалы волны манили к себе; спаги чувствовал, как его завораживают огромные блестящие гребни, уже посеребренные смутными проблесками занимающегося дня, катившиеся, насколько хватал глаз, вдоль бескрайних прибрежных песков... Казалось, их прохлада принесет успокоение воспаленной голове и в благодатной влаге смерть будет не так жестока...

Но тут вдруг он вспомнил о матери и Жанне — подружке и нареченной детских лет. И умирать расхотелось. Он упал на песок и заснул тяжелым, странным сном...

Прошло уже два часа, как совсем рассвело, а Жан все еще спал.

Ему снилось детство и леса Севенн. В лесах, окутанных таинственным сумраком, все казалось смутным, расплывчатым, словно далекие воспоминания... Он видел себя ребенком рядом с матерью под сенью столетних дубов: земля покрыта лишайниками и тонкими злаковыми травами, и всюду — голубые колокольчики и вереск...

Проснувшись, Жан в растерянности огляделся вокруг...

Под палящим солнцем сверкали пески; по горячей земле, напевая странные мелодии, медленно брели увешанные ожерельями и амулетами черные женщины; огромные стервятники неслышно парили в застывшем воздухе, громко стрекотали кузнечики...

И тут он увидел, что голову его прикрывает кусок голубой материи, который держался на воткнутой в песок палочках и отбрасывал густую пепельную тень замысловатых очертаний...

Рисунок этой голубой повязки спаги, кажется, уже видел, и не раз. Повернув голову, Жан заметил сзади Фату-гэй с расширенными от волнения, очень подвижными зрачками.

Да, она шла за ним по пятам и раскинула у него над головой свой праздничный наряд.

Иначе уснувшего на раскаленном песке наверняка хватил бы смертельный солнечный удар...

Вот уже несколько часов маленькая негритянка сидела здесь в исступленном восторге и, когда вокруг никого не было, целовала веки Жана, осторожно, чтобы не разбудить — ведь тогда он уйдет, оставит ее, — и в то же время содрогаясь при мысли, что Жан может умереть, хотя, если бы это случилось, Фату, наверное, обрадовалась бы: она утащила бы его далеко-далеко и не отходила бы ни на шаг, пока сама бы не умерла, обняв спаги крепко-крепко, чтобы никто их больше не разлучил...

— Это я, белый господин, — сказала она, — я сделала это, потому что знаю: солнце Сен-Луи нехорошо для французских тубабов... Я прекрасно знала, — с трагическим надрывом продолжало маленькое создание на уморительном жаргоне, — что есть другой тубаб, который ходит к ней... Я не спала всю ночь, слушала. Пряталась на лестнице под калемасами. Я видела, как ты упал у двери. И все время стерегла тебя. А потом, когда ты встал, пошла за тобой...

Жан с удивлением поднял на нее глаза, полные нежной признательности. Он был растроган до глубины души.

— Никому ничего не говори, малышка... Поскорее возвращайся к своей хозяйке, маленькая Фату; я тоже пойду к себе, в дом спаги...

И он приласкал ее, осторожно погладив рукой, — точно так, как гладил толстого кота, ластившегося к нему в казарме и приходившего по ночам свернуться клубочком на его солдатской койке...

Она же, затрепетав от невинной ласки Жана, опустив голову, дрожала от восторга с полузакрытыми глазами, потом, подобрав праздничную повязку, аккуратно сложила ее и ушла, млея от удовольствия.

Бедный Жан! Стрдание было для него непривычно; всем своим существом он восставал против неведомой, могучей силы, сжимавшей сердце в страшных железных тисках.

Им овладела безумная ярость — ярость против того молодого человека, — ему хотелось уничтожить его собственными руками, ярость против изменившей женщины, — он с удовольствием отстегал бы ее хлыстом и шпор бы добавил; к тому же не давала покоя некая физическая потребность в движении, в неистовой, отчаянной скачке сломя голову.

А тут еще товарищи-спаги смущали и злили его; их любопытствующие, вопрошающие взгляды завтра могли стать насмешливыми.

К вечеру он попросил разрешения отправиться с Ньяор-фаллом на север, в сторону Берберии — испытывать лошадей.

То был головокружительный галоп в песках пустыни: по темноте да еще под зимним небом — там тоже бывают зимние небеса, правда, реже, чем у нас, но тем более поразительные и зловещие в столь унылой стране. Небо заволокли тучи без единого просвета, такие низкие и черные, что равнина под ними казалась белой, пустыня походила на заснеженную степь без конца и края.

И когда оба спаги проносились в своих бурнусах, увлеченные бешеным бегом разгоряченных коней, огромные стервятники, целыми стаями неспешно разгуливавшие по земле, в испуге взмывали ввысь и принимались описывать в воздухе фантастические фигуры.

К ночи Жан с Ньяором, обливаясь потом, вернулись с измученными лошадьми в казарму.

Такая взвинченность и чрезмерное возбуждение не прошли бесследно. На другой день у Жана началась лихорадка.

Почти безжизненного, его уложили на носилки, застланные жалким серым тюфяком, и отправили в госпиталь.

Полдень!.. В госпитале — мертвая тишина, словно в огромном доме смерти.

Полдень!.. Стрекочет кузнечик. Нубийская женщина тонким голосом поет непонятную, навевающую сон песню. Обжигающий поток солнечных лучей на всем протяжении пустынных равнин Сенегала, бескрайние горизонты дрожат и переливаются.

Полдень!.. В госпитале — мертвая тишина, словно в огромном доме смерти. Длинные белые галереи, длинные коридоры пусты. Посреди высокой, голой, ослепительно белой стены — часы, их медлительные железные стрелки показывают полдень; вокруг циферблата выгорает на солнце печальная серая надпись: «*Vitae fugaces exhibet horas*».⁸ Тихо пробило двенадцать, негромкие удары часов хорошо знакомы умирающим; те, кто пришел сюда проститься с жизнью, слышали во время горячечных бессонниц этот приглушенный бой — что-то вроде похоронного звона в перегретом воздухе, не пропускающем звуки.

Наверху из открытой палаты доносится едва уловимый шепот, легкие шорохи, осторожные шаги монашенки, бесшумно ступающей по циновкам. Сестра Паком, изжелта-бледная под

⁸ Часы показывают скоротечность жизни (лат.).

своим огромным монашеским чепцом, взволнованно ходит взад-вперед. Там же врач и священник, они сидят у одной койки, завешенной белым пологом.

А сквозь открытые окна видны солнце и песок, песок и солнце, сияние слепящего света и далекие голубоватые линии горизонта.

Неужели спаги суждено умереть?.. Неужели настала минута, когда душа Жана должна отлететь туда, в гнетущий полуденный зной?.. Так далеко от родительского дома, куда ей деться на этих пустынных равнинах?.. Где раствориться?..

Но нет. Врач, так долго сидевший в ожидании смертного часа, потихоньку вышел.

С наступлением вечера посвежело, ветер с океана принес умирающим облегчение. Возможно, это случится завтра. Ну а пока Жан стал спокойнее, и голова у него уже не такая горячая.

С самого утра внизу, на улице, перед дверью сидела на корточках маленькая негритянка, принимавшаяся от смущения, если кто-то проходил мимо, играть на песке в бабки белыми камешками. Стараясь не привлекать внимания, прячась из опасения, что ее прогонят, она не решалась ни у кого ни о чем спрашивать, но твердо знала: если спаги умрет, его вынесут через эту дверь, чтобы отправить на кладбище Сорр.

Лихорадка не отпускала Жана целую неделю, каждый день к полудню начинался бред. Из-за усилившихся приступов жизнь его опять оказалась в опасности. Но непосредственная угроза все-таки миновала, болезнь отступила.

Ах, эти палящие полуденные часы, самые страшные и тягостные для больных! Тем, кому довелось перенести лихорадку на берегу африканских рек, знакомы такое смертоносное оцепенение и сонливость. Незадолго до полудня Жан засыпал, погружаясь в состояние, близкое к небытию, населенное смутными видениями, липким туманом страдания. Время от времени он чувствовал, что умирает, и на какое-то мгновение терял сознание. То были минуты успокоения.

К четырем часам он просыпался и просил воды; видения растворялись, отступая в дальние углы палаты, за белый полог, а потом и вовсе пропадали. Только голова сильно болела, словно налитая расплавленным свинцом; затем приступ проходил.

Среди образов — ласковых или угрожающих, реальных или воображаемых, — бредивший раза два или три как будто бы различил любовника Кору; стоя у кровати, тот смотрел на него с сочувствием, но исчезал, лишь Жан поднимал глаза. Конечно, это был сон, похожий на те смутные видения, в которых больному являлись знакомые люди из родной деревни со странными, искаженными лицами. Но удивительная вещь, с тех пор Жан не испытывал к сопернику ненависти.

А однажды вечером — уже воочию — он и в самом деле увидел его перед собой в том же мундире, как тогда у Кору, с двумя офицерскими нашивками на синем рукаве. Не отводя огромных глаз, Жан слегка приподнял голову и протянул вперед ослабевшую руку, словно проверяя, есть ли тут кто.

Заметив, что его узнали, молодой человек, прежде чем исчезнуть, как обычно, сжал пальцы Жана, вымолвив одно лишь слово:

— Простите!

На глаза спаги навернулись слезы, первые слезы, и он почувствовал облегчение.

Дело быстро пошло на поправку. Как только отпустила лихорадка, молодость и сила взяли свое. Но бедного Жана по-прежнему терзали воспоминания, он жестоко страдал. В иные минуты его охватывало безумное отчаяние, в голове теснились мысли о свирепой мести; однако длилось это недолго, и он говорил себе, что готов на любые унижения по прихоти Кору, лишь бы увидеть ее вновь и обладать ею, как прежде.

Время от времени его навещал новый друг, морской офицер. Он садился у больничной койки и, хотя был моложе, разговаривал с ним, как с больным ребенком.

— Жан, — начал он однажды очень тихо. — Жан, эту женщину... Если то, что я скажу, может успокоить вас, даю честное слово, что не видел ее... с той самой ночи. Есть вещи, которых вы еще не знаете, дорогой Жан; со временем вы тоже поймете, что не стоит так убиваться из-за сущих пустяков. Ну а что касается этой женщины, то клянусь вам, что никогда с ней больше не увижусь...

Это был единственный намек на Кору, который они себе позволили, однако обещание морского офицера действительно успокоило Жана.

О да! Теперь бедный спаги прекрасно понимал, что есть, видно, множество вещей, которых он еще не знает; в обществе людей, безусловно, более передовых, чем он, существуют, должно быть, привычные утонченные извращения, которые не укладываются у него в голове. Постепенно он стал проникаться симпатией к новому другу, но понять его все-таки не мог: сначала тот проявлял цинизм, потом — кротость и ко всему относился удивительно спокойно; в конце концов с необъяснимой легкостью и непринужденностью он предложил Жану свое покровительство офицера в качестве компенсации за доставленные неприятности.

Только Жан не нуждался в покровительстве; продвижение по службе его больше не интересовало; сердце спаги, еще такое молодое, было исполнено печали после столь горького разочарования, да к тому же первого.

...Случилось это у мадам Вирджинии-Схоластики (своих новообращенных миссионеры награждают порой именами, которые поистине можно считать находкой). Час ночи, в большом притоне темно; тяжелые двери, окованные железом — дело обычное для таких скверных мест, — закрыты.

Маленькая чадающая лампа освещает смутное нагромождение тел, с трудом копошащихся в спертой, зловонной атмосфере; красные куртки, нагота черной плоти, странные переплетения; на столах — разбитые стаканы и бутылки; красные фески и негритянские бубу вместе с саблями валяются в лужах пива и спиртного. Температура в притоне, как в парилке, — сумасшедшая жара, а тут еще клубы черного и белесого дыма, смешанные запахи абсента, мускуса, всевозможных специй, сумаре и негритянского пота.

Вечер, видимо, выдался веселый, а главное — шумный; теперь все закончилось — смолкли песни, скандалы, наступил момент затишья, отупения после бурных возлияний. Спаги еще не разошлись — одни сидели с осоловевшими глазами и глупой улыбкой, тыкаясь лбами в стол; другие боролись с опьянением, пытаясь сохранить достоинство и держать голову прямо, но энергичные черты их прекрасных лиц не мог осветить потухший взгляд, в котором сквозили печаль и что-то вроде отвращения.

Тут же разместилась и вся камарилья Вирджинии-Схоластики: двенадцатилетние негритяночки и даже маленькие мальчики!

А снаружи, прислушавшись, можно было различить отдаленный вой шакалов, снующих возле кладбища Сорр, где кое для кого из присутствующих уже уготовано место в песке.

Толстогубая, с лицом медного цвета и тоже пьяная, мадам Вирджиния отирала кровь с чьей-то белокурой головы. Рослый спаги с юным розовым лицом и золотистыми, словно спелая пшеница, волосами лежал без сознания с рассеченной головой, а мадам Вирджиния вместе с черной потаскушкой, еще более пьяной, чем она сама, пыталась остановить кровь при помощи холодной воды и укусовых компрессов. Но делала она это вовсе не из сострадания, о нет! Просто боялась полиции. Мадам Вирджинии-Схоластике было о чем беспокоиться: кровь все не унималась и уже наполнила целое блюдо, так что старуха протрезвела от страха...

Жан сидел в углу на скамье с застывшим, остекленевшим взглядом, но держался прямо, хотя и был пьянее других. Это он нанес рану сорванной с двери железной щеколдой, которую все еще держал в судорожно сжатой руке, не отдавая себе отчета в том, что натворил.

Вот уже месяц, как он выздоровел, и с тех пор каждый вечер проводил в притонах среди самых буйных пьяниц, отличавшихся цинизмом и ухарством. В поведении Жана было много ребячества, но за месяц горьких страданий он успел проделать огромный путь: проглотил кучу романов, поразивших воображение неискушенного парня, и, усвоив полученные уроки, пристрастился к пагубным сумасбродствам. А кроме того, приобщился к легким победам в Сен-Луи, покоряя и мулаток и белых: женщины не могли устоять перед его красотой.

Но главное, он начал пить!..

О! Вы, конечно, живете тихой семейной жизнью и день за днем мирно сидите у домашнего очага, так не судите же строго моряков и спаги, всех тех, кого судьба забросила с их страстной натурой на просторы океана или в дальние солнечные страны и обрекла на необычные условия существования, исполненного неслыханных лишений, вожелений, губительных соблазнов, о которых вы и не подозреваете. Не судите строго этих изгнанников и скитальцев, чьи страдания, радости и мучительные переживания вам неведомы.

Итак, Жан начал пить и пил больше, чем остальные, пил ужасно.

— Как это возможно? — говорили вокруг. — Ведь у него нет привычки.

Но именно потому голова его и выдерживала больше, чем можно было предположить. Это, конечно, поднимало престиж спаги в глазах товарищей.

К тому же, несмотря на свою внешнюю разнузданность, наш бедный Жан, этот дикий верзила, оставался чуть ли не целомудренным. Он так и не свыкся с гнусной черной проституцией, и когда питомицы дамы Вирджинии начинали приставать, Жан отстранял их кончиком хлыста, словно нечистых животных, и несчастные маленькие создания стали относиться к нему, как к идолу, не осмеливаясь более приближаться.

Однако, выпив, он делался недобрым, ужасным, терял голову и лез в драку. Вот и теперь из-за случайно брошенной насмешливой фразы, намекавшей на его любовные похождения, Жан нанес страшный удар обидчику, а потом и думать об этом забыл, застыв неподвижно с потухшим взглядом, не выпуская из рук окровавленную щеколду.

Внезапно глаза Жана сверкнули; охваченный бессмысленной яростью пьяного человека, он без всякой видимой причины рассердился вдруг на старуху и с угрожающим, злобным видом стал подниматься. Старуха хрипло вскрикнула, на какое-то мгновение ее охватил панический ужас.

— Держите его! — простонала она, обращаясь к заснувшим под столами спаги.

Кое-кто поднял голову, ослабевшие руки вяло попытались схватить Жана за куртку. Но куда там!..

— Пить, старая колдунья! — кричал между тем он. — Пить, дьявольское ночное отродье!.. Пить, старое пугало!..

— Да! Да! — отвечала мадам Вирджиния прерывающимся от страха голосом. — Да! Отлично придумано! Сам, скорее неси абсент, чтобы его прикончить, абсент пополам с водкой!

В таких случаях останавливаться перед расходами хозяйке не имело смысла.

Жан залпом выпил стакан, запустил его в стену и рухнул, сраженный наповал...

Он был прикончен, как выразилась старуха, и теперь уже не представлял опасности.

Схоластика отличалась силой и крепким сложением, да и хмель куда подевался; с помощью черных потаскух и маленьких девочек она подняла бесчувственного Жана и, торопливо вывернув его карманы, дабы выудить последние оставшиеся монеты, открыла дверь и выбросила беднягу вон. Жан упал как неживой, зарывшись лицом в песок и раскинув руки, а старуха, извергая поток чудовищных ругательств и диких непристойностей, потянула дверь на себя, и та тяжело захлопнулась, громко лязгнув железом.

Все смолкло. Ветер дул с кладбища, и среди глубокой ночной тишины ясно слышался пронзительный вой шакалов, зловещий хор выкапывателей мертвецов.

ФРАНСУАЗА ПЕЙРАЛЬ СВОЕМУ СЫНУ

«Дорогой сынок,

мы все еще не получили ответа на наше письмо. Пейраль уверяет, что уже пора и скоро обязательно должна прийти от тебя весточка. Я вижу, как он мается, всякий раз, когда мимо идет Туану со своей сумкой и говорит, что нам ничего нет. Я тоже тревожусь. Но все-таки верю, что Господь Бог хранит моего мальчика, о чем не устаю молиться, не может с моим мальчиком ничего стрястись и не заслужит он наказания плохим поведением; а если вдруг случится какая беда, я стану очень горевать.

Отец велит тебе сказать, что в голову ему лезут всякие мысли, он вспоминает, как сам когда-то был в армии; а уж когда попал в гарнизон, то, говорит, повидал много несчастий, выпадающих на долю молодых парней, коли те неразумно себя ведут, поддаваясь товарищам, которые увлекают их питьем да скверными женщинами, а ведь те для того там и живут, чтобы склонять молодежь к греху. Пишу это, чтобы доставить удовольствие отцу, сама же знаю, что мой дорогой мальчик ведет себя смиренно, в сердце у него добрые чувства, и ничего гадкого он не совершит.

В следующем месяце мы опять пошлем тебе немного денег на разные мелочи; но я уверена, что, вспомнив, как тяжело приходится отцу, ты тратиться попусту не станешь; я душой болею за него, беднягу; что до меня, то тружусь помаленьку. В деревне, как все соберутся, вечера не проходит, чтобы не вспомнили нашего Жана; соседи низко тебе кланяются.

Дорогой сынок, отец и я, мы сердечно тебя обнимаем, храни тебя Господь!

Твоя мать

Франсуаза Пейраль».

Жан получил это письмо на гауптвахте, куда попал, задержанный патрулем в нетрезвом виде, за пьянство. К счастью, рана белокурого спаги оказалась не слишком опасной, и ни пострадавший, ни его товарищи не захотели выдавать Пейраля.

Перепахканная одежда Жана была в крови, рубашка изодрана в клочья, а в голове все еще гуляли винные пары, глаза то и дело заволакивало туманом, он едва мог читать... К тому же детские и семейные привязанности скрывала теперь плотная пелена, и пеленой этой стали Кора, его отчаяние и страсть. (Такое случается с людьми в состоянии умопомрачения, смятения чувств, потом пелена рассеивается, и человек потихоньку снова возвращается к тому, что когда-то любил.)

И все-таки столь жалобное и доверчивое письмо без труда отыскало путь к сердцу Жана; с благоговением поцеловав неровные строчки, он заплакал.

А потом поклялся не пить больше, и, поскольку дурная привычка еще не укоренилась в нем, спаги в точности выполнил свое обещание и больше никогда уже не напивался.

Через несколько дней неожиданное событие внесло в жизнь Жана счастливую и необходимую перемену. Спаги получили приказ сняться с места и стать лагерем вместе с лошадьми в Дьяламбане, что в нескольких милях от устья реки.

В день отъезда Фату-гэй явилась в казарму в красивом голубом наряде, чтобы попрощаться со своим другом; тот в первый раз поцеловал ее в обе черные щеки и с наступлением темноты тронулся в путь.

Что же касается Кору, то после первых минут досады и разгоряченного возбуждения она пожалела о своих любовниках: по правде говоря, оба Жана что-то говорили ее чувствам. Для спаги она была божеством, зато тот, другой, относился к ней как к потаскухе, что вносило разнообразие в ее жизнь. Никто еще не выказывал Коре такого полного, спокойного презрения, и эта новизна ей нравилась.

Однако Сен-Луи вскоре лишился своей самой элегантной обительницы: в один прекрасный день Кора незаметно уехала — по совету властей муж отправил ее в одну из отдаленных торговых контор юга. Фату-гэй наверняка не стала молчать, разразившийся скандал был последним скандалом этой женщины.

Тихая ночь конца февраля; настоящая зимняя ночь — такая спокойная и холодная после раскаленного дня.

Колонна спаги, следуя в Дьяламбан, вольным шагом — каждому предоставлялась свобода выбора — пересекает равнины Легбара. Жан, замешкавшийся в самом хвосте, преспокойно едет бок о бок со своим другом Ньяором...

В Сахаре и Судане выдаются холодные ночи, в которых есть что-то от сияния наших зимних ночей, только они пронизаны еще большей прозрачностью и светом.

Мертвая тишина царит над всем краем. Небо синевато-зеленого цвета — глубокое, темное — усыпано звездами. Луна светит, будто ясный день, с удивительной четкостью вырисовывая предметы и окрашивая их в розовые тона...

Вдалеке, насколько хватает глаз, — покрытые унылыми зарослями мангровых деревьев⁹ топи: таков весь этот африканский край, начиная от левобережья реки до недостижимых подступов к Гвинее.

Луна в самом зените, и вот появляется Сириус, а вокруг — пугающая тишина...

На розовом песке торчат высокие голубоватые стебли молочая, отбрасывая короткую и резкую тень; луна с ледяной ясностью, недвижной и таинственной, высвечивает каждый изгиб растений.

Местами видны густые заросли, образующие темные, хаотичные нагромождения, большие чернеющие пятна на светлом, розовеющем песке; и вдруг — лужи застоявшейся воды, над которыми, словно белая дымка, висят более ядовитые и въедливые, чем днем, испарения — миазмы¹⁰ лихорадки. Возникает ощущение пронизывающего холода, столь необычного после недавней жары; влажный воздух пропитан запахом бесконечных топей...

Иногда вдоль дороги встречаются огромные, скрюченные в предсмертных судорогах трупы верблюдов, утопающие в почерневшей зловонной жиже.

И кажется, будто они улыбаются яркому свету луны, бесстыдно выставив напоказ истерзанные стервятниками бока, безобразные потроха.

Время от времени в могильной тишине раздается крик болотной птицы.

Изредка попадается баобаб, словно мертвый мадрепоровый коралл,¹¹ раскинувший в неподвижной пустоте огромные ветви, и луна с поразительной четкостью очерчивает жесткие контуры мастодонта, создавая впечатление чего-то неживого, застывшего и холодного.

Меж гладких, точно отполированных веток виднеются черные массы: целые семейства стервятников доверчиво погрузились тут в тяжелый сон; с апломбом птиц-идолов они само-

⁹ Мангровые деревья — невысокие вечнозеленые деревья, растущие в тропиках по илистым берегам морей и океанов, а также в устьях рек; снабжены дыхательными корнями поднимающимися над почвой и обеспечивающими дыхание

¹⁰ Миазмы — ядовитые испарения и газы, образующиеся при гниении.

¹¹ Мадрепоровый коралл — самая обширная группа кишечнополостных; шестилучевые кораллы, характеризующиеся наличием мощного известкового скелета. Подавляющее большинство этих организмов живут колониями; после смерти их известковые скелеты становятся основой коралловых рифов.

уверенно подпускают к себе Жана. А луна расцветивает голубыми металлическими бликами их большие сложенные крылья.

И Жан не может надивиться впервые увиденной глубокой ночью сокровенной жизнью этой страны.

В два часа начинается необычный концерт, кажется, будто собаки воют на луну, только звуки более дикие, непривычные и до жути странные. Ночами в Сен-Луи, когда ветер дул с кладбища, Жану вроде бы доводилось издали слышать подобные стоны. Но в этот вечер заунывный концерт звучал совсем рядом, в зарослях: к жалобному повизгиванию шакалов примешивался пронзительный, резкий скулеж гиен. Верно, шла баталия между двумя бродячими сворами за право ободрать мертвых верблюдов.

— Что это? — спросил Жан у чернокожего спаги. Быть может, то было предчувствие: им вдруг овладел панический ужас. Все происходило совсем рядом, в зарослях, и доносившиеся звуки вызывали дрожь, волосы на голове вставали дыбом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.